

## В нашей коммуналке...

### Людоед

Когда я был маленьким, я часто гостил у дедушки в Успенском переулке. Иногда — только на выходные, а порой оставался надолго. Мне было хорошо у деда: днем мы гуляли в скверике, где я катался на педальной лошадке, а вечерами дед читал мне "Мифы Эллады". Читал с выражением, с драматическими паузами, представляя собой театр одного актера: "И спросил Одиссей Телемака: "Кто открыл дверь оружейной женихам? Не Мелантий ли подлый?" — такими же интонациями, как будто спрашивал: "Кто опять рисовал на обоях?". Засыпая, я видел проход между Сциллой и Харибдой, видел Горгону Медузу и Цербера, Лернейскую гидру и гарпий.

Но как-то раз, когда меня привели к деду, я заметил, что весь двор до ворот усыпан цветами: тюльпанами, большими ромашками. Проходя по цветочной дорожке, я хотел было поднять один красный тюльпан, который мне очень понравился, но мама сказала, что его трогать нельзя. Я был послушным мальчиком, зная, что с пола нельзя ничего поднимать, и потому решил, что подберу его позже, когда мама уйдет.

Вечером я выскакивал в коридор и долго громко топал по дощатому полу, добегая до кухни, где соседи готовили еду. Некоторых я знал. (Люди, жившие в дальнем конце коридора, были для меня если не иностранцами, то, во всяком случае, таинственными незнакомцами.) Один из них вольно или невольно здорово меня напугал, когда я ворвался на кухню, а он в это время — точил нож и выразительно на меня посмотрел. Я тогда с ревом пролетел по длинному, как скука, коридору, и рыдая, пожаловался дедушке, как "злой дядька, очевидно, людоед, чуть меня не съел". С тех пор путь на кухню превратился для меня в дорогу, вымощенную желтым кирпичом, со всеми возможными приключениями и опасностями.

Но в тот день я встретил "людоеда", который мирно разговаривал с дедушкой. Они говорили о нашей соседке — тете Фросе, которая почему-то целый день уже не появлялась, а ее-то я знал очень хорошо, потому что наши двери были рядом, и она часто угощала меня конфетами. Людоед мирно погладил меня по головке, и я решил, что он специально притворяется, что он такой добренький, перед моим дедом. А потом приходила какая-то

заплаканная бабушка в черном платке, которую я узнал: это была сестра тети Фроси, из деревни. Меня отправили спать.

Утром, часов в десять, я выскочил в коридор. Там, как обычно, пахло дустом и керосином. К двери тети Фроси была приклеена бумажка с печатью, как раз там, где английский замок. На мои расспросы мне ответили, что "Фрося уехала", и я понял, что поддерживать эту тему никто не хочет. Несколько дней бумажка висела на двери, и просыпаясь, я выглядывал посмотреть, не порвана ли она. И действительно, в один прекрасный день обнаружил, что она не только сорвана, но даже след от нее тщательно вытерт. Я постучал в дверь, как делал это раньше, но мне никто не открыл. Тетя Фрося была пенсионерка, курила "Беломор", но никогда не уходила из дому надолго. Вечером она так и не вышла.

И вот глубокой ночью, когда дедушка заснул, в темной непроглядной глуши, когда все силы зла выходят наружу, я выскользнул в коридор, где горела тусклая лампочка, засиженная мухами, и тихонько приблизился к соседней двери. Вокруг была такая тишина, что из каждой тараканьей щели можно было услышать завывания душ Тартара или шипение дракона. За дверью раздавались тихие звуки, будто кто-то тихо плакал. Я нагнулся посмотреть в щелку — свет через нее обычно виден. Но там была полнейшая темнота. А плач — необычный. Это скорее походило на рыдание, но очень глухое, и всхлипы были какие-то медленные. Женский голос явно не Фросин — я хорошо знал ее прокуренный баритон. Этот был тонкий и нежный. Отчего она так расстроилась, эта тетя? Я почему-то вспомнил принцессу в заколдованной башне. И вдруг низкий мужской голос с какой-то злорадной интонацией произнес за дверью: "Что, еще? Еще хочешь, да?" — ему ответили рыдания и стоны принцессы. В ужасе я шмыгнул обратно в комнату, потому что узнал голос людоеда! А дедушка мирно спал, не подозревая, какие жуткие злодейства творятся у него за стеной.

Утром я рассказал дедушке, пока он жарил яичницу на сале, что, по моему, у Фроси кто-то живет. А он даже не удивился. Потом появилась молодая худенькая тетя с ключами в руках, заперла Фросину дверь, улыбнулась мне и ушла. Она мне сразу понравилась — особенно эта ее тихая улыбка. Ведь это и была принцесса! Я тщетно пытался отыскать следы слез и страданий на ее милом лице, но она быстро отвернулась (наверное, чтоб я не заметил) и удалилась, цокая каблучками. Тогда я рассказал деду, что людоед приходил ночью и мучил эту (кем она являлась на самом деле, было моей тайной) хорошую тетю, что надо позвать милицию, а он только посмеялся (чем меня очень обидел) и сказал, чтоб я не болтал глупостей.

После этого прошло много дней, я жил дома и почти забыл про людоеда. Но когда я опять оказался у бабушки, снова встретил его. Это было на общей кухне. Принцесса варила яйца в маленькой кастрюльке и что-то мне ласково приговаривала. У нее было нарядное платье и очень красивые губы. Но тут в дверях показался мой лютой враг, с волосатой грудью, в одних спортивных штанах. Он ухмыльнулся, увидев меня, и продолжая нагло скалиться, подмигнул принцессе. Та растерялась, и когда злодей сделал шаг навстречу, оглянулась в мою сторону, а потом беспомощно и как-то виновато улыбнулась ему, но уже совершенно иначе. Она словно просила, чтоб он не мучил ее хотя бы в моем присутствии. И тот отступил, всем своим видом показывая, что не бросает своих намерений. Потом она что-то резала на доске, и я заметил, как у нее текут слезы. А еще пыталась шутить и улыбаться! Но меня не проведешь...

Это было очень давно. Так давно, что я иногда сомневаюсь, было ли это вообще. И хотя я сам теперь — порядочный людоед, мне мало кого было так жалко, как несчастную принцессу. Мне жалко ее по сей день.

## След

В нашей коммуналке жила соседка — Акулина Степановна Драпалюк. (Ни одной лишней буквы в угоду красивому слогу, поверьте мне.) Мы звали ее "тетя Кили", а за глаза — просто Килька, совсем как эту, будь она неладна, кильку в томате. Она жила в комнатке — два на четыре метра, да еще в четыре высоты, напротив наших дверей, откуда общий коридор вел на общую кухню. Она была чуть старше XX века, и росту в ней было метр двадцать, в тапочках. Она была абсолютно безграмотна, писала на бумажке под звонком свою фамилию с ошибками и всю жизнь проработала на табачной фабрике. (Пока что я еще нигде не наврал, и надеюсь, не сделаю этого, хотя замысел мой явно не мемуарный, и уж тем более, не протокольный, — так жизнь иногда подбрасывает сюжеты, которые сильно страдают при переделке, шлифовке и прочих чисто литературных процессах. Интрига повествования — нулевая: жила себе старушонка. А раз "жила", то, следовательно, и померла уже. Дешево и сердито. Невероятные просторы для сентиментальностей.)

Заветной мечтой Кили было... "Эту бы комнатку — положить на бок..." — говорила она, имея бесполезные четыре метра до потолка, которые ее карликовый росточек только усугубляли. Одно окно ее (полагаю, в такой комнатке раньше селилась прислуга) выходило на лестничную клетку, выло-

женную при царе-батюшке мрамором двух цветов — белого и серо-голубого. Таким образом, у нее всегда царил полумрак, который, однако, хозяйку совершенно не смущал: газет она не читала. Ходила она всегда в ватной телогрейке, которую правильнее было бы назвать жилеткой — летом и зимой, независимо от температуры. Ходила от своих дверей до дверей кухни, протирая побелку стены на уровне локтей, пока эта дорожка, с годами проявляясь все сильнее, не превратилась в сплошной залапано-бурый след.

В детстве меня жутко забавляло ее полное имя — Акулина, при котором сразу же всплывали акулы-каракулы и всякие наутилусы с немymi капитанами. Акулина Степановна (и не иначе) — так обращалась к ней только моя бабушка, бывшая гимназистка, еще помнившая Лафонтена в оригинале. Акулина и Килька в своем диалектическом единстве давали детскому уму ясное представление об именах полных и уменьшительных, на глазах превращая огромную зубастую рыбину (как-никак, А-ку-ли-на!) в безобидную крохотную кильку. К ней приходили только ее слепой племянник, которого она называла не иначе как "племянник", да горбатая чокнутая сестра, которую всегда облаивали собаки, нюхом чующие то, что иногда ускользает от взглядов тонких психиатров. И была у нее одна любимая песенка, которую она пожизненно пела на кухне, возясь у плиты, — "На позицию девушка провожала бойца", причем передача текста этой строкой и ограничивалась.

Когда-то у нее была дочка, которую немцы увезли в Германию, в концлагерь, где она и погибла. Однажды Киля повздорила с кем-то из дворовых кумушек (общественность двора не сошлась во взглядах на внешнюю политику). Ей вспомнили про дочь — "сучку немецкую". Тогда же и я, помнится, перестал чувствовать себя патриотом. А еще Киля пекла маленькие, но очень вкусные паски, которые всегда вручались мне на Праздник с парой крашеных яиц на тарелочке. Меня обычно тут же посылали к ней с ответным гостинцем. Заходя в маленькую комнатку, в вечный полумрак и не выключаящуюся радиоточку, я еще поражался: отчего это она все время поет, поет одно и то же много лет и пребывает в безмятежном расположении духа? (Тогда уже начинали слушать "Deep Purple" и "Ugiah Heep" — вестников буржуазной поп-культуры.)

Не уверен, знала ли она, что Земля кругла, а табак, пылью которого она дышала всю жизнь, ни разу не закулив, завезен из Америки. Один только раз она высказала свои воззрения — о справедливости, когда прошел слух (тогда пресса все благополучно замалчивала), что в городе поймали маньяка, который насиловал и убивал малолетних детей. Она чистила картошку и приговаривала:

— А я бы на их (властей) месте его б — не в тюрьму (это не опечатка, а точная передача речи), не расстреливать. А так, чтоб привязать к столбу, и чтоб каждый мог подойти с ножом (показывала, как) и отрезать от него шматок. И сказать ему: "Тебе больно? Вот и детям тоже было больно!". Чтоб каждая мать, чью дочь (следовал звук, словно она проглотила горячий пельмень), чью дочь он...

Тогда меня эта кровожадность поразила, но потом я вспомнил глотаемый пельмень — и все стало на места. Я никогда раньше не допускал мысли, что ее обезьянье тельце в свое время для кого-то... Дочь. Я-то знал ее изначально исключительно дряхлой.

Потихоньку маразм крепчал, и у Киля стали "артисты по потолку бегать", — лет старушке уже было за восемьдесят. Ее отдали в дом престарелых.

С детства я ненавидел всякую высокопарность, так что в попытках избежать ее порой впадал в явный цинизм, что, в общем-то, мне несвойственно. Но любой циник всегда достоверней и убедительней, поскольку, имея тенденцию все принижать, он прочно держится земли. От заоблачных радуг и прочих мыльных пузырей на версту смердит синтетикой, патетикой, и организм их попросту отторгает. У большинства юношей цинизм — это как прыщи: защитная реакция на гормоны роста. Здесь нет ничего общего с черствостью или суровой мужской сдержанностью (если таковая существует не только в кино), не приемлющей всевозможные нюни.

Прошло уже некоторое время, с тех пор как Киля покинула наш дом, и я случайно обратил внимание на след: помните, говорилось про грязно-серую засаленную полосу на побеленной стене — от ее двери до двери в кухню? Тут же я мысленно изобразил потешную эпитафию: "Каждый человек, пройдя свой жизненны-ы-ы-ый путь... обязан оставить по себе след!... На этой стене вы видите след, оставленный жизнью этого человека, наиболее исполненный значения и потайного великого смысла..." и т. д.

В богадельне она пробыла недолго.

Это было смешно, бездумно и вроде бы безобидно. Тогда. Я не хочу говорить ничего в ее пользу. Я не хочу копаться в ее прошлом. Я не хочу, чтоб ее жалели. Не хочу наделять тем, чего не было, не хочу превозносить. Кто я такой, чтобы оправдывать ее ушедшее существование? И уж тем более наглым было бы предположение, что след, оставленный ею неволью на этих страницах, — наиболее важен. Это была только глупая шутка, на счет следа, и только.

Но все равно, простите меня, Акулина Степановна.

Да чего уж там, — просто тетя Киля!